

Максим ЭРШТЕЙН

Максим Эрштейн, родился в Ленинграде в 1972 году, с 1991 по 2000 годы жил в Иерусалиме, закончил Еврейский университет (факультет естественных наук). Рассказы публиковались в журналах: «Этажи», «Новая Юность», «Слово/Word», «Семь Искусств», «Новый Берег» и др. С 2000 года живет в США.

ШАРОМЫЖНИКИ

Рассказ

– Знаешь, Нина, есть такие люди – с юных лет недовольные собой, вечно в себе копающиеся, находящие у себя всяческие недостатки. В целом они, может быть, и живут в мире и согласии с собой, и вполне жизнерадостны, но где-то, по большому счету, все время хотят меняться, расти, улучшать себя. У них ориентиры, смутное ощущение собственного потенциала, перфекционизм, желание совершить что-то настоящее, книжное, идеалистическое. Где-то в их душе зияют пропасти и высоты, и покалывает периодически чувство, что туда, на самом деле, можно попасть, и дотянуться до облаков тоже можно, но проблема в тебе – ты не развит, слаб, ленив, недостаточно такой, недостаточно сякой. В конце концов именно эти люди двигают мир вперед, и высот своих достигают, но их воспитанная сызмальства нелюбовь к себе играет с ними злую шутку – близкие люди их не любят. Их достижения, их творения, может быть, и любят, но их самих – нет. Ими самими лишь восхищаются, уважают, но не любят. Любовь к человеку – удивительная штука, она – самое иррациональное из всех чувств. Объективно сильные и хорошие человеческие качества не играют для любви никакой роли. Даже внешняя красота, которая, конечно, также является сильным качеством – и она не слишком способствует любви, а может лишь возбудить влечение и страсть – вещи преходящие и быстро испаряющиеся. Иногда мне кажется, что положение дел даже хуже, чем просто иррациональное – оно порочное и ужасное. Ибо любят, похоже, попросту тех, кто любит себя сам, и больше никаких критериев для возникновения любви не существует. Вот есть другие люди – с молодых ногтей привыкшие к обожанию самих себя и к заботе о себе, в любом положении себя оправдывающие, всегда довольные своей способностью и тут подстроиться, и там подсуетиться, и свой вожделенный хлеб с маслом, или престижную машину, или что там у них еще – получить и поиметь. И все у них прекрасно, и везде свои люди, и жизнь на мази, и скоро приезжает Ростропович, а он – величина, и поэтому на него обязательно надо пойти, ведь тогда мы еще и культурны, и где-то внутри даже гордимся собой. Когда в молодости те, первые, втайне критиковали себя, то эти, вторые, втайне любовались собой. Они всегда за собой тщательно ухаживали и поощряли ухаживания за собой от других, ценили в других именно это. В их картине мира главное – собственное удобство, и поэтому те, кто рядом с ними, понимают, что по-другому с ними нельзя, и стараются создать им это удобство. У таких людей наверняка есть некая потаенная комната в душе – там заперты сомнения и осознание собственного ничтожества, но они в нее никогда не заходят и предпочитают думать, что и все остальные вокруг – такие же, как они, и тоже с детства не заходили в эту комнату. Так что в целом они очень уверены в себе и прочно стоят на ногах; в школе они были хорошистами или

даже закончили с медалью, в институте они учились на каком-нибудь финансово-экономическом, на работе они начальники и менеджеры, а в гостях они всегда могут поддержать беседу на любую тему и мило поболтать ни о чем. Вот таких-то и любят, и какая-нибудь жертвенная женщина, красотка, между прочим, и умница, всю жизнь мучается с таким, смотрит ему в рот за обедом, покупает на ему на сэкономленные деньги замшевую куртку и не перестает мечтать о том, что он когда-нибудь, в один прекрасный день, вдруг поднимет на нее удивленные глаза и поинтересуется – а что у нее на душе, что у нее болит, что ей нужно купить.

– Ну все, Саша, хватит уже нести весь этот бред, уши вянут. Это все очень по-разному бывает. Все вы, философы доморощенные, одинаковые – ковыряетесь в том, что не поддается на самом деле никакому осмыслению. Настоящая жизнь непознаваема, и если ты в свои двадцать лет не прочувствовал эту истину всеми своими печенками, то тебе уже ничего не поможет. Все, что ты рассказываешь – ужасные, преступные обобщения. У тебя остается, как тебе кажется, лишь главное, а все остальные, малозначительные детали выплескиваются, но дело в том, что в этих-то деталях все настоящее и кроется, и выплескивать их нельзя. Колбасот с бутерброй у тебя есть? Я же тебя просила приготовить нам в дорогу.

Приблизительно в таком духе мы общались с Ниной, моей новоиспеченной подругой, пока ехали на автобусе из Иерусалима в Эйлат, чтобы вместе понырять там в коралловых рифах на побережье Красного моря. Сошлись мы с ней совсем недавно на почве совместной любви к Набокову; также нас роднил тот факт, что оба мы были, по ее выражению, «беспонтовые разведенки». Если себя она нарекла этим эпитетом потому, что не смогла выбить из своего бывшего мужа приличных денег при разводе, то ко мне она стала применять это выражение, когда узнала, что я, напротив, обязался выплачивать своей экс-супруге целых ползарплаты.

Происходило все это в конце девяностых, нам обоим было тогда уже под сорок, в Израиле мы прожили по нескольку лет, страну эту любили не слишком пламенно, с фигой в кармане, и часто заводили популярный среди репатриантов разговор на тему «анахну мы сюда приехали». Нина все время что-то писала, не переставала сетовать, что до Набокова ей как до луны, и что на иврите она никогда писать не сможет; когда она начинала читать мне свои рассказы, то я, от природы не умея врать и лицемерить, прерывал ее словами «ну ты же сама говорила, что до Набокова тебе далеко»; она, конечно, мгновенно обижалась, но вскоре успокаивалась благодаря своему легкому, отходчивому характеру. Она переехала в Израиль из Перми, где успела выпустить небольшую книжку стихов, наполненных любовью к родной уральской природе – стихи ее мне нравились гораздо больше, чем ее проза. Она была эксцентричной и манерной, любила придумывать и коверкать слова, утверждая, что научилась этому у самого молодого Шекспира; она носила длинные винтажные платья и ненавидела уборку – у нее в квартире был не просто бардак, а отвратительная, несвойственная женщинам грязь. При первом же моем недоуменном взгляде на ее свинство она накинула на себя судейскую мантию и вручила мне гляцевую визитную карточку, на которой золотыми буквами было написано: «Арчибальд Гумозио, теоретик искусства». Вскоре после событий, описанных в этом рассказе, мы расстались с ней – я был, наверное, недостаточно артистичен для нее, а она удручала меня своей непрактичностью. Но в тот вечер в Эйлате нам обоим казалось, что все еще может

получиться, мы были настроены на лучшее и предвкушали освежающий отдых на берегу моря.

Автобус наш где-то на полпути сломался; мы провели два часа в каменистой пустыне, дышащей жарой, отупляющей своим безбрежным однообразием, поражающей своей катастрофической, окончательной убитостью. Когда-то, миллионы лет назад, здесь наверняка были скалы, живые, тянущиеся к небу, отмеченные зелеными порослями, пронизанные ручейками воды – но что-то случилось и все это погибло, разлетелось на безжизненные ошметки, и даже стелющаяся кое-где между камнями серая лебеда с едва уловимыми прожилками зеленого походила скорее на мертвую, истлевшую ткань, чем на живое растение. Бродить здесь было неприятно; пошатавшись немного, не в силах окунаться больше в эту удручающую атмосферу уничтоженной природы, мы с Ниной дожидались возобновления поездки на теневой стороне автобуса – сидели, молчали, думали о своем.

Несколькими часами позже, бултыхаясь в шипящей, живой воде Красного моря, мы одновременно выпалили друг другу, что не были бы в эту секунду так очумело счастливы, если бы не провели недавно два часа в мертвой каменной жаре. Как нова и свежа жизнь, когда только что видели смерть! Мы встретили закат, купаясь; силуэты гор на западе еще долго пламенели и наконец совсем погасли, слившись с ночным небом; вскоре на пляже зажглись костры – многие, как и мы с Ниной, ночевали здесь в спальных мешках прямо на песке. Мы тоже хотели уже развести огонь, как вдруг из темноты на нас выплыла фигура мужчины, освещенная фонариком на его шляпе; он поздоровался с нами на иврите, но, подойдя ближе, перешел на русский, безошибочно распознав в нас своих. Он указал нам на компанию, сидевшую у костра неподалеку, и пригласил нас посидеть с ними, заявив, что у них там «прикольно и наливают». Затем он удалился, и по его неверному шагу можно было судить, что у них там действительно наливают.

– Да это наши шаромыжники, ну их в баню, не пойдем к ним. Чертовы французы, заблудившиеся в России. Гопота колбасная, – сказала мне Нина.

– А мы с тобой не такие же шаромыжники, что ли? – отвечал я.

– Ну да, вообще-то, мы тоже такие. Ладно, пошли, посидим с ними, послушаем все эти истории о том, как Изя шел в пивную, а попал в ОВИР.

Вокруг их костра, растапливаемого невесть откуда добытой деревянной тарой, собралось человек шесть-семь; здесь хозяйничали две пары средних лет, а остальные, ребята помоложе, сидели на правах гостей; нам немедленно налили, заставили выпить и приобщили к обильной закуске; затем мы должны были отвечать, откуда мы, как и почему здесь; лишь один наш ответ вызвал какую-то реакцию публики – о том, что я из Ленинграда: – «порембриков мы любим», – сказал тот самый парень в шляпе с фонариком, который позвал нас сюда; после этих его слов у костра возобновилась оживленная беседа, прерванная нашим появлением.

– Там мебелишку всякую, рухлядь, на халяву по средам раздают, американцы какие-то. Наш сосед Марик совсем оборзел, чинит ее, полирует, и продает, нашим же, вот жучара.

– Да Марик нормальный мужик, у него в Москве кооператив был, а здесь, кроме вязаной кипы на лысине, нет ни хрена. Ты сам поди почини мебель – это тебе не в газету репортажи строчить, здесь таких умников – как у нас в Москве алкоголиков.

«Слушай, пошли-ка отсюда, пока я не рассердилась», – шепнула мне Нина; – «неудобно, давай еще немного посидим», – удержал я ее. Тем временем защитница Марика, женщина лет на пять постарше нас с Ниной, спорившая со своим мужем, писакой в газету, посмотрела на студенческого вида молодежь и с чувством заявила:

– Вот вам, ребята, повезло – вы еще такие молодые, вы в совке ничего не оставили, и здесь у вас все есть, да и много ли вам надо!

Студентам нужно было что-то отвечать; один из них, парень лет двадцати пяти, выдвинулся из тени поближе к костру и сказал, глядя на газетного писаку:

– Вы знаете, лично мне кажется, что как раз вашему поколению здесь легче. Вот скажите, вы в армии в Союзе служили?

– Ну да, служил конечно, связистом, два года, в Риге. У нас тогда студентов от службы не освобождали. Славно, кстати, служил, есть что вспомнить, – отвечал писака.

– Ну вот я и говорю, – продолжал свою мысль студент. – И есть что вспомнить, и Родине долг отдали. А я вот хожу тут по чужой земле, весь в долгах, и как-то мне тяжело.

– Что тебе тяжело? – выпалила вдруг с каким-то неожиданным раздражением и вызовом Нина; все вздрогнули и слегка напряглись, но студент не стушевался и спокойно отвечал:

– Предателем быть тяжело, долги не отдавать совестно.

– Ты, Леша, чего ради в Израиловку поперся, а? – спросила девушка, сидевшая рядом с ним. – Сидел бы в совке, долги бы свои отдавал, и не ныл бы тут о совести.

– Погодите, ребята, о каких долгах вы, какая совесть, о чем вы вообще? – удивленно, но миролюбивым, успокоительным тоном воскликнула жена писаки.

Студент Леша отложил свою тарелку с закуской, и с нахмуренной гримасой высказал публике следующее:

– Ну вот рассудите сами – я тут неплохо учусь в Технионе, весь такой развитый и умный, книжков читал, композиторов слышал. А кто меня таким воспитал? Родители? Да ни фиги – они на работе были замотаны по уши, а я во всякие дворцы пионеров ходил, в кружки, в лагерь ездил летом. Знаете, кто из преподавателей мне больше всего запомнился во дворце пионеров? Бабушка такая старенькая – у нее на войне муж и двое сыновей погибли. Софья Михайловна Полякова ее звали. И она всю свою душу, весь свой талант, в нас, неродных ее детей, вкладывала – вот поэтому-то мы все такие крутые и развитые получились. Классное у нас образование в совке было – и все бесплатно, все задаром. Эта бабушка для чего меня учила? Наверное, и для того, чтобы я когда-нибудь и другим что-то передал. В ее стране, за которую она жизнь положила. И что, по-вашему, у меня нет долга перед этой бабушкой, перед Родиной? Да этот долг давит на меня здесь с утра до вечера. Все, что в меня отчизна вложила, как я ей возвращать теперь буду?

– Итить твою, Филиппыч, – ну вы видали такое! – воскликнул писака; его жена сидела с широко раскрытыми глазами, а другая супружеская пара, как по команде, разом опустошила свои стаканы и сделала серьезные физиономии. Вечер перестал быть томным, студент Леша ничуть не собирался шутить и веселиться.

– Я тебе говорю, Леха, катись обратно, и отслужи там в стройбате, воздай должное Родине – она для тебя никакого лучшего применения, чем стройбат, все равно не найдет, – сказала опять та же девушка, приходившаяся, как впоследствии выяснилось, двоюродной сестрой этому Леше.

– А вот возьму, и поеду, и отслужу, и не в стройбате, – хмуро отвечал Леша. – А то они здесь меня хотят в армию забрать, а с какого перепугу я здесь-то служить должен? Эта страна меня не растила.

– Яблочек не забудь привезти им в совоккию с земли обетованной, – язвила девушка.

– Алексей, – строго сказала Нина, – вы глубоко заблуждаетесь, ничего вы совку не должны. Ваши родители все за вас уже вернули и своей собачьей жизнью все это ваше образование искупили. Вы в курсе, что они должны были получать за свою работу в пять раз больше, и не жить от зарплаты до зарплаты, как все мы жили. Но совок отдавал им лишь крохи, а остальное тратил на космос, афган, вооружения, парады, пионерскую организацию, и всю эту коммунистическую лабуду.

– Именно так, молодой человек, именно так. Мой ребенок, которого я увез в десятилетнем возрасте, ничего России не должен, – произнес, закурив сигарету, доселе молчавший мужчина из второй супружеской пары. – Я там четырехкомнатную квартиру оставил в центре Москвы, уехал еще до приватизации, этого вам не достаточно? Не легче вам от этого?

– Извините, но нет, не легче. Мои родители за их собственное образование, а не за мое, возместили совку своей, не такой уж и собачьей, кстати, жизнью. И я на них кивать не имею права. Долг на мне и ни на ком другом. Так я чувствую.

Леша говорил негромко, но твердо, смотрел куда-то вниз, на песок, и было件нятно, что разговор этот у него уже не в первый раз и переубедить его в чем-то件невозможно. Его длинные вьющиеся волосы блестели при свете костра, и казались от этого еще светлее, чем были, наверное, на самом деле; он мало был похож на еврея, впрочем, как и многие из нас. После его окончательного ответа все замолчали и погрустнели; в липкой, меланхолической тишине мы слушали вздохи прибоя, треск дровишек и думали, наверное, все об одном и том же – о нашей прошлой жизни, молодости, детстве, о России. Кружок наш напоминал теперь скорее поминки, чем веселые посиделки возле костра.

– У нас тут есть философ, он сейчас вам все объяснит на данную тему, – вдруг, с непонятым запозданием, совершенно уже не к месту, прервала всеобщее длительное молчание Нина, обратившись ко мне.

– Да что тут объяснять? Я согласен с Алексеем. Он прав, – отвечал я.

– Ну и дебил ты, Саша, хоть стой с тобой, хоть падай! – воскликнула Нина и махнула на меня рукой.

Вновь воцарилось молчание. Писака закурил и помрачнел. Он с досадой смотрел на Алексея, испортившего всем им отдых на море. Но было в его взгляде что-то еще – понимание какое-то, переживание. Он вдруг сильно изменился внешне – втянул голову в плечи, осунулся, сгорбился. Докурив сигарету, он произнес:

– Ладно, народ, давайте закроем уже эту тему. Все это, Алексей, очень личное, очень интимное, понимаете? Ну что вы так, при всех? Делайте все, как знаете, никто вам в этом не указ. Пойдемте-ка, народ, купаться.

Мы все так же молчаливо, задумчиво зашли в воду. Купались, не отходя далеко от берега, ориентируясь на наш костер и на призрачные тени друг друга, торчащие из воды; внезапно я услышал смех Лешиной сестры, да и жена писаки тоже чего-то забубнила; на берег мы вышли уже наполовину сбросив с себя пелену грусти. И странное дело – все эти чужие люди, которых я в первый раз в жизни видел, казались мне теперь удивительно родными, близкими, и уходить от них не хотелось. «Посидим еще с ними, ладно?» – шепнула мне Нина, я кивнул, и мы остались возле их костра. Все с удовольствием выпили и беседа пошла теплая, дружеская, веселая; все открылись, расслабились, и никто больше не спорил. Единодушно восхищались пронырливостью некоего Вадима из Самары, который, через полгода по приезду, вдруг якобы сломал ногу, ходил в гипсе, и, предъявив вдобавок письмо от тяжело заболевшей матери, сумел получить разрешение на вылет в Россию, и, конечно, не вернулся – так он ловко получил от Израиля несколько тысяч шекелей подъемных, так называемую «корзину абсорбции», и был с ней таков. Схема, которую израильские власти так и не смогли до конца искоренить – изобретательности «русских» не было предела. Поражались цинизму и хладнокровию неких Виты и Димы – примерных кибуцников, которые в одну прекрасную ночь погрузили всю их казенную кибуцную мебель в грузовик и улетели в Канаду, а мебель в контейнерах вышла в ту же ночь из порта Тель-Авива, и наверняка благополучно доплыла в их новую Родину – иллюзорный холодный Торонто. Слушали рассказы Леша об учебе в Технионе и сравнивали их с воспоминаниями о собственных студенческих годах в России. Сетовали на то, что устали выполнять здесь тяжелую, неквалифицированную работу и что не хватает, на самом деле, лишь капельки везения, чтобы занять в этой стране более достойное нас место. Подходил какой-то новозеландец в соломенной шляпе, выпил рюмку водки и начал рассказывать что-то на своем чудном языке; мы ничего не понимали, и наш парень в шляпе с фонариком, уже совсем пьяный, вдруг прервал его громкими словами: «Мужик, шляпуними». Тот не понял и сказал, что по-русски не знает ни слова, на что наш парень миролюбиво ответил: «В трубку сверни». Новозеландец оценил хохот компании правильно – откланялся и ушел. Потом гоняли последние анекдоты, показывали карточные фокусы. Все, даже студент Леша, уже совершенно забыли о давешнем тяжелом разговоре и предались веселью, и только писака иногда украдкой брал сигарету и отходил в сторонку покурить.